

А. А.  
БЕСТУЖЕВ-  
МАРЛИНСКИЙ

*Сочинения*



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Часы и зеркало

(Листок из денника)

Time steal on us and steal from us.[1] Byron

\* \* \*

– Куда прикажете? – спросил мой Иван, приподняв левой рукою трехугольную шляпу, а правой завертывая ручку наемной кареты.

– К генеральше S.! – сказал я рассеянно.

– Пошел на Морскую! – крикнул он извозчику, хватски забегаю к запяткам. Колеса грянули, и между тем как утлая карета мчалась вперед, мысли мои полетели к минувшему.

Сколько приятных часов провел я у генеральши S.!.. Милая дочь, умное общество, занимательная беседа, приветливое обхождение, прекрасная дочь... Ах, Боже мой, да это повторение! – поневоле приходится начинать и заключать ею – она была душой, а может, и предметом всего этого! Чад большого света не задушил в ней искренности, придворные блески сверкали только на ее платье, но ее остроумие не имело в них надобности. Весела без принуждения, скромна без жеманства, величава без гордости, она привлекала сердце очами и обворожала умы словом. Самые обыкновенные вещи, ею произносимые, принимали особую жизнь от чувства или мысли, выраженных лицом, от намека в одушевленных звуках голоса. Никто лучше ее не умел сливать светскую ветреность с сердечною мечтательностью и, храня строгий этикет модных приличий, повелевать меж тем модою – и отлично. Всегда окружена роем комаров – остроумцев, щеголей, – мотыльков и шпанских мух – богачей, она одна как будто не замечала ни приветов, ни воздыханий, ни взоров, ни вздоров, которыми ее осыпали. Стрелы паркетных купидонов отражала она своим веером – и самые меткие высыпались вон из корсета при раздеванье, вместе с лишними булавками. Не скажу, чтобы тщеславие, чтобы злословие – две стихии большого света были ей чужды, – нет! это едва ли возможно для всякой женщины и вовсе невозможно для дамы лучшего тона. Что бы заняло их дома? о чем бы стали они шептаться на балах, на съездах, на зрелищах, если б оставить в покое все репутации, все морщинки лиц и складки платьев, все ужимки и уборы присутствующих и все городские вести, изобретенные от нечего делать и повторяемые от нечего сказать? По крайней мере, она была тщеславна более по примеру, чем по сердцу; по крайней мере, насмешки ее были растворены каким-то добродушием: не уязвить того, о ком велось слово, желала она, а только развеселить того, кому рассказывала. Далека от амазонского тона многих столичных ровесниц ее, она терпеливо слушала лепетанье добрых, неопытных, доверчивых новичков – не превращая их в мороженое уничтожительным взором или словом, брошенным с высоты презрения, и ни одно умное словцо, ни одно острое замечание не оставалось без награды ее улыбки – кем бы ни было оно сказано.

Кладу перо и хладнокровно себя спрашиваю: не мадригал ли это, сочиненный моим сердцем? Не влюблен ли я? Но что значит это слово? Я так часто был влюблен, что, мне

кажется, люблю только тех, в которых не влюблялся, – следственно, не разлюбил. Нет! это не сердечное пристрастие: чувства мои к ней были нежнее приязни – но тише любви. Я досадовал, бывало, когда безотвязные пустословы мешали мне поговорить с ней, но не ревновал. Не знаю, мои ли обстоятельства или опасение не получить полной взаимности удержали меня между небом и землею, – только я не надевал на себя пестрого колпака вздыхателей и, скрепив сердце, грелся, но не сгорал ее красотой. Бывало, часы летели и речь кипела ключом, когда она, сбросив светские узы жеманства вместе с тафтяными цветами и пышными регалиями скуки, возвращалась в домашний круг свой, будто сейчас из пелен природы. Как простодушно умна, как непритворно чувствительна тогда бывала она! Я никогда не забуду последнего вечера, проведенного с нею: четыре года отлучки и бивачная, разбойничья жизнь в горах Кавказа не сгладили о том воспоминания: все это, как вчера, у меня перед глазами.

Со мною не церемонились – я был у них почти домашний; и после обеда мать отправилась faire la ciïste – немножко отдохнуть, чтобы не зевать на бале, на который собирались они. Мы остались у камина: брат ее, кавалерист, дремал под благодарным влиянием английских угольев и только порой побрякивал шпорами: видно, мысли его танцевали тогда мазурку. Старшая, замужняя сестра Софьи занималась счетом бисера для узоров кошелька; зато мы вдвоем говорили за четверых, и речь шла, конечно, не о слезах Андромахи. Слово коснулось живых картин, и я сказал, что многие дамы наши выигрывают в них безмолвием и неподвижностью, но что все мы теряли в вашем молчании, mademoiselle Sophie! Правда, вы были живою мыслию живописца; вы одушевили, возвысили ее собственным выражением и воображением; но одно движение, один звук вызвал бы искру восторга, который таился еще в немом созерцании!

– Даже если б я чихнула? – лукаво спросила она, возражая на комплимент мой. – Allons, M. Alexandre[2], я не люблю шуму, и от высокого до смешного один шаг. Пойдемте-ка, я лучше покажу вам новую свою работу по бархату, свою совсем не живую картину! – Сказав это, она упорхнула вперед; я предложил руку старшей сестре, которая, полушутя-полусерьезно выговаривала Софье, что она без матушки приглашает молодого человека в свой кабинет, – но, однако ж, встала, и мы счастливо совершили суворовский переход.

Как жаль, что у нас нечем выразить английского слова Awe. Это не страх, не благоговение, не изумление, но что-то такое, которое имеет в себе нечто от всех трех. Таким-то чувством бывал пронизан я, переступая порог кабинета прелестной девушки, поражен не тем, что видел там, но тем, что угадывал или воображал. Здесь при лучах утреннего солнца вода освежает ее, как розу... Здесь перед зеркалом выбирает она из модной своей оружейницы (то есть гардероба) самые убийственные для нас наряды; здесь примеряет новую шляпку, новую улыбку к лицу или испытывает небрежно живописное положение; здесь повторяет нечаянные взоры, вздыхает за романом, мечтает после бала... и кто тот счастливец, о ком мечтает она? С каким-то чувством сладкого страха вступил я в комнату Софии – как будто в святилище. Некоторая таинственность, некоторый риск придавали тому еще больше цены. Все мне казалось там очаровательно: уборы и вкус их, свет и воздух! Бронзовые и хрустальные безделки манили взор прелестью работы или возбуждали любопытство новостию изобретения. Млечная крышка лампы проливали сияние луны; цветы и духи веяли ароматом. На канделябре висела шляпка с вуалем для гулянья по Невскому. На письменном столике, между блестящими альбомами, умирающий Малек-Адель бросал последний взор из-под английской карикатуры. Полуразрезанный роман Вальтер Скотта заложен был пригласительным билетом на бал; на недоконченном письме брошена была поддельная гирлянда, и журнал мод, развернутый на картинке, осенял своими крыльями Шиллера и Ламартина; полусожженный листок из Дарленкура, служивший для зажигания кассолета, заключал картину, – словом, все в пленительном беспорядке – то была ода в анакреонтическом роде – или, лучше, история сердца и ума светской девушки. Так я мог следить ее прихоти и склонности – борьбу ветрености с жаждою познаний, с потребностью

занятий душевных; желание блеснуть, нравиться и побеждать равно наружностью и умом в свете, столь скучном своими обычаями и столь милым по привычке. Привычка – вторая природа, говорят все. Мне кажется, что природа сама – первая привычка... ни больше, ни менее.

София сдернула покрывало с небольших пяльцев, в которых натянута была бархатная белая полоса, и на ней яркими оттенками весьма искусно изображалась вязь плодов, перемешанных с цветами. Я молча глядел то на работу, то на Софью, и снова, и снова попеременно; она взглядывала то на меня, то в зеркало. «Вы настоящая Аврора, – сказал я, – под вашими перстами расцветают розы!» – «Разве маки, – возразила она, – я встаю слишком поздно для вестниц Феба. Притом быть петербургскою зарею значит проститься со всеми своими знакомыми – которые видят восход солнца только на Вернетовой картине!» Я уверял, что она весь свет сделает раннею птичкою, введет в моду утренние прогулки, и все лорнеты, все трубки обратятся к востоку, подобно очам правоверных! Она возражала, что спрашивает о цветах, а не о себе. Я говорил, что невозможно, глядя на них, не вздумать о лучшем из них. Она желала знать, хороша ли работа. Я отвечал, что в отсутствие художницы она казалась бы прелестною, но при ней искусство уступает природе и краски кажутся безжизненны, что персики могли бы позавидовать пуху щек ее, а розе надо бы занять у нее румянца. Она говорила, что я приветлив (complimenteux) слишком по-светски. Я говорил, что я слишком искренен для света. Она говорила, что иногда не понимает меня. Я говорил, что теперь и сам себя не понимаю. Она говорила, – виноват, она молчала, – но я не переставал говорить глупости – и не диво: благовонный воздух дамских кабинетов напоен их прелестями – взоры их так обворожительны, божественная заря так прилипчива! Сердце тает, язык болтает – и все это делается, сам не знаешь как.

Било семь. «Как они отстают!» – вскричала Софья. Восклицание это доказывало нетерпение ее быть на бале, где найдет она множество поклонников, затмит многих соперниц. Я взглянул на часы едва ли не со вздохом – они врезаны были наверху большого трюмо. Странное сочетание! Урок ли это нравственности? Напоминание ли, как дорого время, или эмблема женских занятий, посвященных зеркалу? Приятное ли, разделенное с полезным, или полезное – жертва приятному? Вероятно, мастеру, который для странности или по случаю соединил в одно эти разнородные начала, не впадало на ум ничего подобного; да и сам я подумал о том, будучи уж дома и один.

– Направо, стой! – кричит Иван... Карета остановилась; звонок дрожит на пружине, и сердце мое бьется... Это ничего! точно так же билось оно у дверей каждого из прежних друзей моих. Радость их видеть и вместе страх увидеть остывшими или не так счастливыми, как бы хотелось, неизвестность встречи или приема – вот что волнует грудь странника. «Принимает!» – говорит старик швейцар, вздевая очки на нос, но прежде чем он успел разглядеть и узнать меня и удивиться, что я так давно не был, – я уже на верху лестницы, я уже в гостиной. Генеральша, разговаривая с двоюродною сестрою своею, почтенною женщиною преклонных лет, раскладывала гранпасьянс. «Очень рады». – После обыкновенных расспросов, где и как был, что выслужил, я наведалься о здоровье любезной дочери. «Слава Богу, она у себя в комнате, – отвечали мне, – и будет довольна, вас увидя; не угодно ли потрудиться войти к ней?» Я удивился, но не заставил повторять себе приглашения. «Что бы это значило? – думал я... – только однажды, и то украдкою, мне посчастливилось быть у Софьи в комнате, как ни короток я был прежде в доме; а теперь меня посылают туда без провожатого! Люди или обычаи здесь изменились?» – Софья встретила меня радостным восклицанием, как старинного друга, – и в этот раз грешно бы было сомневаться в ее искренности: она была так уединенна, так одинока! Она не походила на себя – на прежнюю себя. Куда девалась эта свежесть лица? этот прозрачный тонкий румянец, эта роза любви, в очах тающая? эта нежность лилейной шеи, гордой груди? Те же цветы, обновясь, красуются на ее окнах, но она увяла! Неужели четыре года – век красоты? Нет: я прочитал иную повесть в томных чертах, в грустных взорах Софьи! Не от одной

напряженной жизни большого света, не от бессонницы и утомления на частых балах так быстро поблекла она, – к этому присоединились нравственные огорчения: червяк тоски тихо сточил ее сердце, и роза опала, не пережив весны своей. Колесо моды вынесло вверх других красавиц, и поклонники прежней умчались вслед новых метеоров; атмосфера вздохов, которою жила, дышала Софья, – рассеялась, и она, к досаде своей, должна была ежедневно видеть успех других, поглощать свое унижение и, так сказать, украшать трофеи соперниц. Слишком строгая в выборе во время владычества – по вкусу, она и теперь не изменила себе – из гордости. Связи родства и приданое ее не были так значительны, чтобы привлечь превосходительных (я не говорю, превосходных) женихов-математиков; а люди, достойные ее по сердцу и летам, удалялись невесты столь высокого полета, привыкшей к блистающей жизни, к знатному кругу знакомства, которого не могли, а может, и не желали бы поддержать. Кто знает: может, и любовь, тайная или обманутая, отвергнутая или неразделенная?.. И это сердце, созданное для того, чтобы любить, – изныло в одиночестве среди людей, посреди шуму, безответно! И эта прелестная девушка, которая бы украсила общество как супруга, как мать – отжила для надежды в двадцать три года, забыта светом, которому принесла себя в жертву. О, свет, свет! Как мало даешь ты – за все, что отнимаешь! Блестящи – но тяжки золотые цепи твои, и мы еще более отягчаем их связями. Умножая наслаждения, мы умножаем страдания разлуки с ними; мы срастаемся с тобой, и рука судьбы, отрывая нас прочь, расторгает сердце!

В кабинете Софьи заметно было гораздо более порядка: все у места, все прибрано – теперь ей более досуга. Сама она сидела спиной к зеркалу, которое не могло уже ей показать, какова она была, – и в котором не хотела она видеть себя, какою стала. Она углублена была в чтение истории герцогов Бургундских; доказательство, что занятия ее стали основательнее, – нет худа без добра. Она показалась мне любезна по-прежнему, но в остроумии ее было менее живости, в эпиграммах более соли, чтоб не сказать желчи. Она смеялась – но уже этот смех обличал досаду покинутой, а не удовольствие торжествующей красоты. Разговор был более шутив, чем весел. Она просила меня рассказать поправдивее о Кавказе. «Пушкин приподнял только угол завесы этой величественной картины, – говорила она, – но господа другие поэты сделали из этого великана в ледяном венце и в ризе бурь – какой-то миндальный пирог, по которому текут лимонадные ручьи!..» Я, как умел, вернее старался изобразить ей ужасающие красоты кавказской природы и дикие обычаи горцев – этот доселе живой обломок рыцарства, погасшего в целом мире. Описал жажду славы, по их образцу созданной; их страсть к независимости и разбою; их невероятную храбрость, достойную лучшего времени и лучшей цели. Беседа наша была довольно любопытна, даже занимательна – но со всем тем мы оба охотнее бы променяли все эти рассудительные разговоры на тот час, когда мы болтали вздор, склонясь над рисованными цветами!!

Между прочим, Софья поздравила меня с избавлением от страсти к комплиентам. Привет это или укор? Я в самом деле не сказал ей ничего лишнего – ложь замирала у меня на устах. Женщины, однако, любят похвалы красоте своей еще больше, когда она исчезла. В цвете они принимают их за долг, в отцвете за дар: это наши князья без княжеств, графы без графств. Сиятельство приятно им и без сияющих достоинств, как обет или воспоминание.

Наконец я взглянул на часы и встал, чтобы сойти в гостиную. «Не верьте им: они бегут!» – сказала Софья. Как много в немногих словах!! Давно ли, когда надежда торжества опережала время, она говорила, глядясь в зеркало: «они отстают!» Теперь, когда вылиняли крылья радости и сердце не успевает уже за временем, теперь: «они бегут». Так, они бегут – и невозвратно! Сочетание зеркала с часами поразило меня более, чем когда-нибудь: в два раза вся история красавицы мне виделась на них начертанною; мне виделся в них живой, но бесполезный урок тщеславию.

Я вышел грустен. Случайные слова «они бегут!», «они отстают!» – произвели на меня сильное впечатление, произнесены будучи особою, столь несчастливою, но столь достойною счастья. Ровными стопами идет время – только мы спешим жить в молодости и хотим

помедлить в ней, когда она улетает, и оттого мы рано стареем без опыта иль молодимся потом без прелести. Никто не умеет пользоваться ни выгодами своего возраста, ни случаями времени, и все жалуются на часы, что они бегут или отстают. О, Софья, Софья! Не имя, а участь твоя навела на меня этот порыв мудрости: твои часы и зеркало еще и теперь у меня перед глазами.

Дата создания: 1831, опубл.: Северная пчела, 1831, N 21, 33, 24; 27, 28 и 30 января.

## Примечания

1

Время крадется мимо нас и крадет у нас. – Байрон (англ.)

2

Что вы, мсье Александр (фр.).